



Моим родителям

...любовь приходит к нам по-разному, в разных обличьях, в разных одеждах, и, может быть, нужно очень много времени, чтобы понять, принять и называть её по имени.

Джон Фаулз. Коллекционер

В тот день я понял, что детство кончилось. Вернее, само-то детство никуда не делось. Просто оно выплюнуло меня на гладкий взрослый асфальт. Или его вытошнило мной, не знаю. Одно было ясно. Эта резкая боль — через глаза, горло, грудную клетку, живот, ниже — теперь никуда не уйдет. Она будет затихать и прятаться, а потом возвращаться и... снова, снова, снова.

Глава 1

ДЕТИ – ЦВЕТЫ, ИЛИ МУТНЫЙ САД

Мне — семь

Ровно в семь меня будили теплые материнские руки. Ощущения этого я не любил и не потому, что не умел просыпаться. Умел, и еще как. Мое сознание хорошо чувствовало наступление нового дня и дергало за все крючки: «Встать!» Утренняя мать напоминала вкус парного молока — белого, тягучего, сладкого. Я начинал тяжело дышать и отталкивать ее будто в полусне. А она смеялась и крепко держала меня за запястья.

Утренний я был горячим и влажным, как новорожденный котенок. Мне хотелось трогать себя и там, и тут, гладить против слипшейся шерсти. Но мать смотрела, и я только сжимал кулаки, собирая в горсть податливую простыню.

Пузатый чайник дышал паром, а на деревянном столе без скатерти лежали куски сыра и круглого ржаного. Кровяно пахло свеклой и блекло — капустой. Мать что-то резала, швыряла, кувыркала. Точила ножи об оселок в форме слона, и слон визжал, подняв к потолку свой толстый хобот.

— Борщ варю, — подмигивала мать.

Старый фартук с крылышками, прожженный в нескольких местах, твердо обнимал ее за талию, а крылышки, чуть смятые, слабо шевелились, словно крылья умирающей бабочки. Вечером — не всякий раз, иногда — в кармане фартука можно было найти конфету или орех. Я приходил за добычей в темноте, как вор, и запретность этого действия доставляла мне удовольствие, даже если карман оказывался пустым.

— Веди себя хорошо, мальчик, — говорила она изо дня в день, хотя знала, что там, вне дома, мне трудно быть хорошим. Знала, что, сколько бы я ни старался, ей придется снова идти в Сад и с виноватой улыбкой просить за меня прощения.

Я шмыгал носом и впивался зубами в бутерброд. В Саду тоже дадут борщ, с кусками серого мяса и неровными жирными кругами. Все будут послушно есть, и со всеми я, потому что иначе поставят в угол или запрут в чулане на весь тихий час. Впрочем, наказания случались, и я шел на них покорно — они, как борщ, слон и голос матери, были частью моей жизни.

В чулане мне нравилось больше, чем в углу. Темнота, почти полная, кутала, как ватное одеяло. Вещи же, в начале заключения такие простые, со временем делались призрачными и вовсе не похожими на самих себя. Конечно, в чулане стеной висела пыль, и через полчаса я начинал кашлять и задыхаться. Но стояние в углу сопровождалось брюзжанием, а порой и грубыми тычками, которые я особенно не любил.

К шкафам, набитым игрушками, подходить не разрешалось никому, даже Ирусе, воспиталкиной дочке. Безразличие, с каким Ируся глядела на шкафы, не давало

мне покоя. Я представлял, как вечером, выпроводив нас за дверь, воспиталка сюсюкает: «Играй доченька, играй миленькая», — и доченька, чуть не срывая дверцы с петель, набрасывается на сокровищницу. Еще я представлял, как вдруг ожившие игрушки мстят за меня Ирусе. Одноглазый пират до синяков стреляет железными пулями, робот твердит: «Дура, дура, дура», а тяжелый паровоз с хрустом переезжает ногу в розовом сандалике.

На прогулках мы ходили по кругу. Не горстками или парами, а в одну линию, друг за другом. Так гуляли заключенные в одной книжке — я видел на картинке, и это меня чуть-чуть подбадривало. Узники, страдающие за правое дело, или жестокие преступники, которых боится даже охрана, — совсем не то, что семилетние мальчики, гуляющие в Саду.

Последние десять минут были вольными. Воспиталка дула в блестящий свисток, и под резкую трель все разбегались в разные стороны — к домикам, лесенкам, шинам, наполовину врытым в землю. Меня тянуло на качели, но занимал их обычно тот, кто больше всех толкался и кричал. А я ни того, ни другого не хотел.

Поэтому я смотрел, как развлекаются остальные, и немного помогал им. Раскачивал лесенки, чтобы по ним было не скучно лазать, кричал в окна домиков веселые слова или раскручивал карусели, отправляя в космос тех, кто успел втиснуться в деревянные креслица раньше других. Однажды в космосе бурно вырвало Мишаньку, и мне навсегда запретили играть на площадке. Свои десять минут свободы я тратил почти бездарно — стоял, вложив руку в потную воспиталкину ладонь, и смотрел вверх...

Лук слезился под ножом, скрипел, ложился ровными кольцами. Картошка рассыпалась кубиками, и, когда

мать отворачивалась к плите, я складывал из кубиков разные фигуры. Затем все они — фигуры, плаксивый лук, кружево капусты, худенькая стружка моркови — отправлялись в кипятик и даже не просили о пощаде. Я махал им вслед, как героям, но под столом, тайно, потому что это не касалось никого, кроме них и меня.

Мать мыла руки и прежде, чем вытереться, со смехом брызгала мне в лицо холодной водой. Руки у нее были длинные, узкие, с сетью намечающихся морщин и нитками свежих шрамов. Нос — тоже узкий, с высокой горбинкой. И вся она казалась острой, долгой, покрытой тонкой бесцветной вязью. Я не умел читать эти знаки, но по утрам они успокаивали, помогали оторваться от дома и перешагнуть ту мутную черту, за которой начинался Сад.

Последнее утро детства было холодным. Я босиком стоял возле раковины, безответно крутил ручку с красным кружком, и пятки мои леденели.

— Отключили! — крикнула мать от плиты и глухо добавила: — Иди-ка сюда.

В кухне меня встретили два уголька. Так глаза матери темнели, когда она собиралась сказать о плохом. Я сел на пол и уткнулся лицом в ладони. Между пальцами было видно, как мать помешивает овощи в сковородке и убавляет газ.

— Ну что ты, мальчик?

Я засопел и дернул плечом, словно отгоняя писклявого комара. Реветь мне совсем не хотелось, но и слушать плохое — тоже.

— Еду кое-куда на месяц, — решила мать.

— А это куда? — Я икнул, но все-таки поднял голову.

— Не важно, мальчик. Просто меня не будет тридцать дней.

— А ты оставишь конфет?

Мать улыбнулась:

— Немного.

— А борща?

— Борща... нет, борща не оставлю.

— Что же я буду кушать?!

Мать опустила на пол и взяла меня за подбородок.

— Послушай, мальчик... Тебе не понадобится мой борщ. Весь месяц ты будешь в Саду, в круглосуточной группе.

Наверное, она ждала, что я начну кататься по полу, орать и лупить по стенам. Так бывало, когда меня загнали в угол. Но только не в этот раз.

Про круглосуточную группу ходили всякие слухи. Говорили, детей там на ночь привязывают к кроватям. А кто особо провинится, того заставляют стоять по полдня с вытянутыми руками и приседать десять раз по десять раз. Я как-то попробовал, четыре раза по десять присел и бросил — начало болеть.

Попасть в такую группу, да еще на месяц... сдохну! Зато, если не сдохну, узнаю все — врут ли про кровати, отбирают ли на ночь трусы и сколько новая воспиталка сможет меня терпеть. Но главное даже не это. Из круглосуточной есть выход на черную лестницу, а с лестницы — на чердак.

Год, не меньше, снился мне тот чердак в самых волнующих снах. На прогулке, пока другие летали на качелях и ползали по лесенкам, я, прикованный к воспиталке, смотрел на заколоченные досками окна. Смотрел, пока задранная голова не начинала ныть и кружиться. А вдруг получится? Встать ночью, проскользнуть в дверь, взметнуться вверх и... провалиться в черноту, где живут старые-старые вещи. Где сквозь узкие щели тянет к тебе

руки полная луна и булькают голуби, и привидение замученной директрисы глухо ворчит во сне.

Я позволил матери собрать чемоданчик, молча выслушал привычное «веди себя хорошо» и вышел за порог. В чемоданчике, помимо прочего, лежал бумажный пакет, а в нем — шесть конфет и орех.

В круглосуточную меня отправили с самого утра. Наша воспиталка сказала той, потряхивая челкой:

— Приглядывайте за ним, если не хотите неприятностей.

— А что? — Та лениво жевала резинку и смотрела без всякого интереса.

— Узнаете, — сказала наша, — когда он вам полгруппы передушит.

— Гольфиком, — уточнил я и тут же получил увесистый подзатыльник.

Наша воспиталка ушла, а чужая села на маленький стульчик и подтащила меня к себе.

— Значит, так. Сладкое, если имеется, сдать. На нервы не действовать. Приказов слушаться мгновенно. А то хуже будет, ясно?

Я кивнул и открыл чемодан. Чужая заглянула в бумажный пакет и брезгливо фыркнула:

— Да, мамаша-то у тебя щедрая.

Вместо того чтобы плюнуть ей на платье, я сказал себе: «Чердак». И пошел знакомиться с такими же, как я, оставленными без матерей и сладкого.

Компания подобралась печальная. Горохом рассыпались по ковру ясельные, у окошка девчонки тискали куклу — одну и ту же, по очереди, потный очкарик за воспиталкиным столом пялился в книжку. А в углу, прямо

у входа, лицом к стене стоял белобрысый в растянутых колготках.

— За что? — спросил я белобрысого.

Он вздрогнул и пожал плечами.

— За что? — повторил я чуть громче, разрубив свой вопрос пополам: «За. Что».

Белобрысый быстро зашептал:

— У Жорки шорты треснули. А чего я, я просто дернул. Смешно же дергать, ну скажи, смешно!

— Смешно, — согласился я и дернул его за колготки...

Чулана с пылью в круглосуточной не было, поэтому до обеда мне пришлось стоять в углу, из которого ревущего белобрысого освободили досрочно.

Суп в тот день дали молочный — полупрозрачный, сопливый. Вермишель разварилась, пенки собрались белыми плевками. Я пустил в плавание кусочек хлеба без корки и смотрел, как он медленно теряет силы и опускается на дно.

— Адовы дети! Хоть бы хлеб жрали. — Бородатая нянечка отобрала моего утопленника и шлепнула на стол тарелку с ленивыми голубцами.

В животе некрасиво запело, и я съел половину — просто чтобы к ночи не кончились силы.

После тихого часа, привычно бессонного, я вместе с другими круглосуточными вышел на прогулку. Воспиталка палкой начертила на земле круг:

— Играй внутри.

Я шагнул в круг, а она бросила мне под ноги пластмассовую формочку.

На земле кверху лапками лежала большая муха. Большая уснувшая муха. Я перевернул ее носком ботинка, но она не очнулась.

— Зеленая, лети!

Муха не шевелилась. Только чуть подрагивали на низком ветру тусклые крылышки.

— Как девчонка! С формочкой! А-ха-ха!

Не оборачиваясь, я выкинул назад кулак. Сиплое ржание перешло в скулеж.

— Ударишь в спину — убью, — добавил я спокойно.

Он обежал меня и встал, высунув язык — ну конечно, белобрысый. Шапочка у него сбилась набок, на штанах висели комки грязи.

— Ну, выйди, выйди! Что, не можешь? — дразнился он.

— Эй! Вы чего, драться? — Легкий топот, и передо мной появились толстые щеки, вздернутый нос и яркосиние глаза.

— Не подходи к нему, он бешеный, — буркнул белобрысый.

Толстяк наклонил голову, совсем как собака, почесал ногу и прошептал:

— Ух ты, — потом потоптался немного и добавил: — Ты кто, дурила?

Ничего такого он мне пока не сделал, и я ответил ему:

— Зяблик.

— Как это? — Толстяк сморщился, верхняя губа отогнулась, и оказалось, что у него нет двух или трех зубов.

— Это имя.

— Дурацкое имя! — крикнул белобрысый и на всякий случай отошел подальше.

— Дурацкое, — согласился толстяк.

— А сам ты кто, Васенька? — спросил я его.

Он улыбнулся, сверкнув черными провалами:

— Ванечка.

— Ванькой будешь, — отрезал я, и бывший Ванечка охотно кивнул.

Белобрысый обиженно засопел.

— Пойдем отсюда!

— Не, я остаюсь. — Ванька снова наморщил нос и протянул мне руку.

— Ну и фиг с тобой! — Белобрысый сунул ему в лицо отогнутый средний палец и побежал биться за место на качелях.

Я не завидовал их свободе. Мой круг был не только тюрьмой, но и защитой — для меня, для мухи, для этого весеннего дня, который весь переполз сюда, за свежую земляную царापину.

— Зяблик, смотри, как мы играем! — Ванька хохотнул и кинулся к песочнице. Девчоночьи кулички, ровным строем стоящие на бортике, превратились в грязные развалины. Худая с косичками закричала, а низенькая в голубом пальтишке горько заплакала.

— Это тебя тот кретин научил? — спросил я, когда Ванька вернулся.

— А кто такой кретин? — щербато улыбнулся он.

— Когда росту во, а ума ничего! Тебе что, три?

— Мне семь! — возмутился Ванька.

— Вот и играй, как в семь.

Воспитав Ваньку, я прислушался к плачу низенькой. Красивые затихающие всхлипы... если бы она продолжала, я бы взял ее сюда, в свой круг.

— А во что играть-то? — Ванька нетерпеливо подпрыгнул.

— Муху будем хоронить. Вот эту. Подорожника принеси.

Он сбегал на край участка и сорвал несколько листьев. Я выложил ими формочку, а сверху пристроил

муху. Как положено, лапками кверху. Яму выкопал руками, чтобы оказать мухе больше уважения. Поранился, но ничего — с кровью было еще лучше.

— Ванька, ты — оркестр! Сыграй торжественное.

— Бу! — сказал Ванька. — Бу-бу-бу! — и завыл так тоскливо, что ленивые голубцы медленно поползли от желудка вверх.

За пропавшую формочку я проторчал в углу остаток дня. Было обидно, но сдаться и порушить мухину могилу я, конечно, не мог. Ваньке тоже попало — за то, что играл со мной, а куда делась формочка, не заметил. Отмазывался он как бог — щечки трясутся, глазки на мокром месте, голосок тонюсенький:

— Я не знаю, не знаю, не знаю...

А сам за спиной фигу показывает. Хороший был пацан Ванька, послушный.

Никто меня вечером к кровати не привязал. Труссы тоже отбирать не стали. Воспиталке наверняка хотелось, но она лишь бросила злой короткий взгляд и не менее короткое и злое:

— Спать!

И выключила свет.

Ванька, еще во время ужина подговоренный идти на чердак, замер в своей постели. Я тоже замер, но глаза закрывать не стал. Смотрел, как они лежат, — толстые червяки, засыпанные снегом. Скоро совсем затихнут, провалятся в свои простенькие сны, и мы пойдем...

Воспиталка отключилась быстро и даже сигнал подала храпом: иди, милый Зяблик, дорога твоя свободна. Я встал, сложил одежду толстым червяком, прикрыл червяка одеялом.

— Ванька.

Он пошевелился, чмокнул губами.

— Ванька!..

Толстая щека потерлась о наволочку и обмякла. Спит. Ладно, каждому свое. Я знал, что там, на чердаке, мне будет лучше одному.

— Ты куда? — Белобрысый соскочил с кровати и начал суетливо напяливать тапки. — Меня возьми!

— Отстань! — отмахнулся я.

Белобрысый зашипел:

— Не возьмешь — кричать буду. Все равно не пойдешь, еще и влетит.

— Ладно. — Я улыбнулся одним ртом, широко растянув губы. Он, конечно, ничего не заметил, радостно хрюкнул и стал копошиться — сооружать своего червяка. Потом снял тапки и аккуратно поставил их перед кроватью.

Надо же, — подумал я, — кретин, а кое-что соображает.

Выход на черную лестницу нашелся в туалете. Мы смотрели из пахнущих хлоркой сумерек в полную тьму и молчали. Два босых призрака в трусах.

Первым очнулся белобрысый:

— Нам что, туда?

— Мне — да. А тебе, если надо, на горшок.

— Сам на горшок! — огрызнулся белобрысый и толкнул меня в спину. — Иди первый.

Я снова растянута улыбнулся и шагнул в черноту. Белобрысый скользнул за мной.

— Свет оставь, — шепнул он.

— Ага, — ответил я и плотно-плотно прикрыл дверь.

Цепкие пальцы схватили меня за плечо, ободрал кожу. Было неприятно. Я сгреб эти пальцы в горсть и сильно сжал. Белобрысый охнул, выхватил руку и рыкнул: